

ведающее пути, не удостоившееся. И еще одна традиционная деталь: все это — состояние перед последним порогом. Триптих начинается так:

Все исполнилось, Федор Михалыч.
Все свершилось — и оптом и врозь.
Только то, о чем страстно мечталось,
Вот единственно, что не сбылось.

А исполнилось — даже с лихвою,
Да с такою лихою лихвой,
Что не надо ни Босха, ни Гойю,²⁰
А укрыться бы в гроб с головой!

В подобном контексте само упоминание имен Босха и Гойи без всякой расшифровки вызывает в сознании апокалипсические картины, а весь последующий текст триптиха — это, собственно, изображение мерзких кошмаров двух великих мастеров, но кошмаров, переведенных на язык реалий XX в. Напоминаю: это — начало триптиха. Финальную же его часть составляет «песенка» об атеисте и баптисте, вместе отбывающих срок в лагере. Эта песенка и вместе с ней весь триптих завершается весьма примечательно:

Лишь один Господь Бог — знает, видит, жалеет.
Он зовет на совет окруженья свое.
«У баптиста есть Я.
Атеисту — хуже.
Не дадим ему ада,
Дадим — небытье».
Вот какая история, Федор Михалыч.²¹

Вот так. Не дантовский Лимб, даже не ад — небытие. И ведь никто не сказал, что оно непременно лучше ада; очень может быть, что как раз наоборот.

Небытие у Кима, обреченность на самоосуждение лишенной Высшего Суда души у Габая, подмена истинного воздаяния абсурдными бюрократическими почестями у Хармса, вечное заточение во тьме могилы у Платонова и Стефановича — все это минус-Апокалипсис, несостоявшиеся эсхатологические ожидания. Значимая не-данность Страшного Суда переживается русской культурой как великая духовная трагедия, как знак безблагодатности и богооставленности.

Приведенных примеров, может быть, недостаточно для более детального анализа, но их слишком много, чтобы нельзя было не увидеть в них закономерности. Дробный, множественный образ Иова, авторитет Достоевского, эсхатологические чаяния — состоявшиеся или несостоявшиеся — все это в русской культуре XX в. образует устойчивое смысловое единство. Проникнув в творчество Достоевского, тема Иова неизбежно пришла в соприкосновение с православной соборностью, и от этого соприкосновения высвободился ранее скрытый апокалипсический потенциал древней легенды — этим и определяются особенности ее интерпретации русскими писателями и мыслителями нашего столетия.

²⁰ Там же. С. 94.

²¹ Там же. С. 97.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА К ДОСТОЕВСКОМУ

Настоящая публикация писем к Достоевскому продолжает серию публикаций, запланированную Редакцией академического Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского. (См.: Достоевский и его время. Л., 1971. С. 250—270; Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1974. Т. 1. С. 285—304; 1976. Т. 2. С. 297—392; 1978. Т. 3. С. 258—285; 1980. Т. 4. С. 239—253; 1983. Т. 5. С. 246—270; 1987. Т. 7. С. 270—285; 1991. Т. 9. С. 267—293; 1993. Т. 10. С. 194—227).

Тексты писем подготовили и комментарии к ним составили: А. В. Архипова (Р. В. Авдиев), С. А. Ипатова (Д. И. Титов, А. Г. Архангельская).

Р. В. Авдиев — Достоевскому

15 февраля 1873 г. Одесса

Одесса. 15 февраля 1873 г.

Г-н Редактор.

Я только что прочел в № 2 Вест(ника) Евр(опы) «Алексей Слободин».¹

В пятой части романа выведено движение (?) 48 г. — история Петрашевского. Рудковский не Петрошевский ли? ² Вы, кажется, также были прихвачены этим движением? Т. е. его грубым концом, последствием? Если Вы прочли этот эпизод романа, он Вас должен был задеть живо, и всех(?), обидеть Вашу совесть. Смотрите, какие это честные, хорошие были люди. Смотрите, каково было состояние общественной среды, в которой обращались эти люди, эта молодежь... И в чем же была опасность монархии? государству? Партии царедворцев просто было противно, ненавистно всякое умственное живое начало. Шпионы должны были следить за частной жизнью выдающихся людей. Шпионы указывали на опасность. Всякий проблеск самостоятельности, всякое движение мысли давилось не в первый раз. Люди гибнут — разве можно остановить это движение? А Вы с «Гражданином» к тому тшитесь!

Я выписал «Гражданина», чтобы узнать его ближе. Как он омерзителен. Князь Обалдуй Тараканов проповедывает принципы аристократии общеевропейской-монархической — Россия здесь не при чем. Князек глуп.³

Ну, а Вы, скисший от погрома 48 г., Вы из-за чего пристегнули себя к его газете? Ваш пиэтизм в чем же имеет корни? Убедитесь

скорее, что Вы не по плечу современному обществу, что оно переросло Вас и откажется помогать политике таких господ как Лонгиновы, Шуваловы, Тимашевы и пр.⁴ Жаживо похоронить себя неловко, и слова мои жестоки. Но... право, Ваш «Гражданин» порочит наше время, наше общество. А так как это не должно оставаться безнаказанным, то вот Вам протест

одного из подписчиков.

Печатается по подлиннику: ИРЛИ, № 29626.

Автор письма — Ростислав Васильевич Авдиев (1835—?), дворянин, окончил Московский университет. В 1869 г. был заподозрен в близких отношениях с членами кружка С. Г. Нечаева. В 1879 г. по распоряжению одесского генерал-губернатора вследствие политической неблагонадежности был выслан в Восточную Сибирь и определен на жительство в Читу. В 1880 г. переведен в Астрахань (Деятели революционного движения в России: Био-библиографический словарь / Сост. А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. М., 1929. Т. 1, вып. 1. Стб. 6). Сохранилось два его письма к Достоевскому. Письма Достоевского к Авдиеву неизвестны.

Авдиев — представитель той довольно значительной части читателей Достоевского, которая, исповедуя демократические и радикальные взгляды, критиковала писателя «слева», относясь тем не менее с большим уважением к автору «Мертвого дома» и защитнику «униженных и оскорбленных» и пыталась идеологически воздействовать на него.

¹ «Алексей Слободин. Семейная история» — роман А. И. Пальма, опубликованный в 1872—1873 гг. в «Вестнике Европы» (1872. № 10—12; 1873, № 2, 3) за подписью: П. Альминский. На первые три части романа, вышедшие в 1872 г., в редактировавшемся Достоевским «Гражданине» (1873, № 1) опубликована анонимная рецензия, в которой роман оценивался довольно критически.

² В февральской книжке «Вестника Европы» напечатана четвертая (а не пятая, как пишет Авдиев) часть романа. Большинство страниц ее посвящено изображению кружка интеллектуальной молодежи конца 1840-х годов. Члены кружка собираются то на квартире Георгия Васильевича Рудковского, то «по пятницам» у некоего Дмитрия Сергеевича, где слушают лекции и ведут разнообразные разговоры, в том числе и о необходимости перемены в России: введения «гласного судопроизводства» и «свободы печатного слова», «выборного начала» и освобождения крестьян. В романе, действительно, нашли отражение настроения и споры участников кружков М. В. Петрашевского и С. Ф. Дурова. «Кодексом, разрешавшим все споры и недоразумения, — пишет А. И. Пальм, — были статьи одного знаменитого критика (имеется в виду В. Г. Белинский. — А. А.), ставшего тогда во главе литературного движения, которое Москва называла „западничеством“, а беззубые петербургские противники окрестили (очень, впрочем, удачно) „натуральной школой“». (Вестн. Европы. 1873. Февр. С. 501). Четвертая часть романа заканчивается сценой ареста всех основных героев — членов кружка.

³ Имеется в виду князь В. П. Мещерский, издатель «Гражданина».

⁴ Лонгиновы, Шуваловы, Тимашевы — Авдиев называет фамилии высокопоставленных чиновников тех лет, известных своими консервативными и реакционными взглядами. Вероятно, он имеет в виду следующих конкретных лиц:

Михаил Николаевич Лонгинов (1823—1875) — известный библиограф и историк литературы, с 1871 г. — начальник Главного управления по делам печати. Автор новых «правил» 1872 г., изменивших в сторону большего цензурного ужесточения закон о печати, принятый в 1865 г.

Граф Петр Андреевич Шувалов (1827—1889) — петербургский обер-полицмейстер, управляющий III Отделением собственной Е. И. В. канцелярии, шеф жандармов. Консерватор, отрицательно относившийся к реформам 1860-х гг.

Александр Егорович Тимашев (1818—1893) — генерал от кавалерии, с 1856 г. начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением Е. И. В. канцелярии, в 1868—1877 гг. — министр внутренних дел. Его правление, помимо

прочего, ознаменовалось усилением преследований прессы (введение предварительной цензуры, запрещение розничной продажи отдельных изданий, исключение ряда тем из сферы обсуждения в печати и т. п.).

Р. В. Авдиев еще раз обратился к Достоевскому с письмом 14 апреля 1877 г., на сей раз назвав себя. Письмо было послано из Одессы как отклик на опубликованную в январском выпуске «Дневника писателя» 1877 г. статью «Миражи. Штунда и редстоиксты». Письмо хранится: ИРЛИ, № 29626. Оно написано на 14 страницах крайне неразборчивым почерком и с трудом поддается прочтению. Приводим выдержки из него:

«Не вовремя, не к стати писать в защиту штунды, собственно не вовремя писать о штунде», —

начинает Авдиев, имея в виду только что объявленную Россией войну Турции. Он описывает Одессу первых дней войны: порт, военные корабли на рейде, бегство мирного населения из города.

«Расползаются, как тараканы от порошка, бегут, как мыши из дома, который залит водой».

«Но к чему это всё?.. — продолжает Авдиев. — Для того, чтобы Вы, почтеннейший Федор Мих(айлович) извинили вялость письма о штунде. Я давно собирался вам написать о штунде; вот и очутился в положении запоздавшего, по своей вине.

Человек, которому дороги вопросы нравственности, конечно, не может не питать сочувствия к тому, что пишет о штунде оригинальный и талантливый русский литератор и философ. Но вот философ пишет из Петербурга о людях, совершенно ему неизвестных, о людях, которых быт, обстановка, нравы ему неизвестны. Я передам вам то, что я знаю, что видел и слышал.

Вот бросили слово „штунда“, бог знает откуда явившееся, которого они и сами не любят. Они называют себя „евангелическими братьями“, „русским свангелическим братством“. Будем и мы называть их „евангелистами“.

Прежде всего я отрицаю всякую их связь с немцами. Крестьянин-малоросс не знает немецкого языка, немецкой речи. Немец-колонист живет особняком, (нрзб), без слияния с прочими, без слияния крови, без сближения. Жизнь его на виду малороссу-мужику, но влияние единичное, редкое. Если бы вы имели возможность навести справки о положении сект (в Новороссии) у американских миссионеров, последние дали бы вам самые обстоятельные справки; но если бы вы обратились за этими справками по очереди к каждому лютеранскому пастору всех немецких колоний (в Новороссии), вы бы ничего не узнали (...) так как жизнь сект им неизвестна».

Авдиев сообщает далее о существовании «братств» самых разных: православных, немцев, скопцов, анабаптистов, баптистов, реформаторов и что существуют

«между ними два толка: принимающие необходимость крещения (т. е. перекрещения), принимающие Христа и отвергающие то и другое, также всякую духовную иерархию, обряды церковные, важность обряда (...)»

Евангелие — вот альфа и омега их учения. Постичь и следовать учению великому, учению Христа — вот их религия. Суть чистого

учения Христа — их нравственность, их жизнь. Для всякого положения у них ссылки на Евангелие. Многие они понимают как аллегорию и опираясь на подобное понимание, отрицают всякую обрядность, все внешнее, наносное... А вы думаете, легко это было сделать? Вот был праздник Пасхи. Какое радостное, великолепное служение с полночи в церквях для православных! Легко обломать (?) эти связи, изведывая свое одиночество? Но спокойно переносится это разобщение во имя правды, как они ее понимают, во имя любви к слову Христову. К 10-ти часам утра они собираются в свою хату, чинно садятся по лавкам, на стульях. За столом садится тот, кто будет „держатъ собрание“. Пред ним Евангелие, „Приношение православным христианам“, т. е. сборник духовных песен (издание) Петербургского немца Блисснера (выгодная афера). И только в этой компании вы встретите всех возрастов людей (...) мужчин и женщин. Женщины сидят особо (...) Вы видите парней из биндюжников, вы видите ободранных нищих (безносых иногда), всего страннее видеть подростков... Что их влечет сюда? К этому однообразному пению псалмов и (нрзб) известных виршей Блисснера? 8 песней (по 8 строф, не более) пропойт с расстановками и все на один и тот же мотив. Дорого бы я дал, чтобы узнать, чтобы определить лад (?), происхождение этой мелодии. Каждая песнь сначала прочтется важно, спокойно и благоговейно старшим, за ним всеми поется. Начинается чтение Евангелия и объяснение старшим (...) За тем молитва или „старшего брата“, или того, кто почувствует потребность (нрзб). Все встают и люди слушают импровизацию молящегося или молящийся падает на колени, другие также. Льется речь, слова благодарности и покаяния, льются слезы; один вдохновляет других... Странная картина... Раз как-то после собрания я спросил знакомую женщину, о чем она так плакала? „Вот ваш муж здесь, он здоров. Вы выдали недавно вашу дочь (за сектанта) хорошо. О чем вам горевать?“ Мне что-то отвечали о грехах. Какие могут быть у них грехи? Они святые с своим пиетизмом... Они вчитываются в Евангелие и проникаются историею Христа Спасителя, его страданиями. Он требует покаяния, и эти люди каются! Какие их грехи? Они не крадут, не завидуют, не пьянствуют, не лгут, не ругаются, живут скромно, работают (если есть работа)...

Это люди, прежде нас узревшие, во что превращается религия у послушных овец православной и всякой официальной церкви. Положа руку на сердце, скажите, Федор Михайлович, разве та религия миллионов русского крестьянства, то православие, которое вы восхваляете, в котором видите силу и особенность России, заключает в себе зиждательное начало? Затем ведь все достоинства православия отрицательные и скорее зависят от посторонних обстоятельств, чем от духа этой религии. Что такое православие искреннее? Смирение, покорность (?), упование, послушание властям, пост, незлобие — это христианство русского крестьянства. Но ведь им зачем же иерархия, богословие и прочее? Но вот нравы церковников повреждаются. Служитель Христа в Новороссии (...) арендует землю (...) делает

поборы, пьянствует... Так что же? Закрывать глаза на все это? „Не судите, да не судимы будете...“ Это потом, а сначала все это возмущает. Теперь сектант говорит о православных священниках: „Сслысы вожди слепых“, но говорит спокойно, без злобы.

Но не возвратится ли нам к вашей статье?»

Авдиев цитирует главу «Штунда и редстокисты» и полемизирует почти со всеми рассуждениями Достоевского о штунде. Он не согласен, что штунда — результат немецкого влияния, что сектанты стремятся к зажиточной жизни: «...поняли, что немцы живут богаче русских и что это оттого, что порядок у них другой» (25, 10). «Ошибка, — утверждает Авдиев. — Евангелист не ищет богатства». Возражает он и на следующее суждение Достоевского: «Спор начинают уже с самого начала; и тот час же, с самых первых двух слов спор уходит в букву» (25, 11). «Неверно, — пишет Авдиев. — Поклонение букве, о! какое незнание состояний наших южных сект! Споров, ожесточений, вражды нет, нет, нет!.. И даже опять замечу, „беспомощной глупости“ нет. Педантское лицемерие? — снова цитирует он Достоевского — У кого это?». Приводя фразу из «Дневника писателя»: «Лобьитое веками драгоценное достояние, которое надо бы разъяснить этому темному народу в его великом истинном смысле, а не бросать в землю (...) в сущности пропало для него окончательно», — Авдиев продолжает:

«Но то-то и есть, что не пропало, а питает и животворит. *Надо бы разъяснить*, а кому? Иезуиту обер-прокурору *святейшего синода*? Его рабам: черному (позорному) духовенству и белому, (нрзб) положение кот(орого) известно вам? Тургеневский поп (см. рассказ в «Нов(ом) вр(емени)» «Сын попа») ¹ вот тип лучшего православного духовного отца. Но много ли таких? И при том это „деревенский“.

Да, для темного, замученного народа этот последний храм. А если жизнь (нрзб) юга России толкает сознание, будит его? Тургеневский поп ответил на вопросы? Нет. У него одна сила — покорность, молитва. Православием сильна Русь, слов нет. Но не вся Русь, а ее ядро. Краины идут несколько иначе. Их теперь не разберешь.

Вы совершенно правы, осуждая секту как обособление, как отщепенство, как ослабление православия или национальных сил России; я понимаю вас и сам стал с удовольствием читать ваши величания православия. Все-таки вера видна. Но вы нетерпимы и деспотичны. Вы наделали объяснений и надавали эпитетов не заслуженных невиновными ревнителями евангельского учения.

Вы там выше сказали: начнут *опять сначала* (...) Конечно, начнут сначала, ибо *пройденного другими* не ведают».

Авдиев приводит примеры рассуждений сектантских идеологов о крещении, предлагает Достоевскому сообщить подробности и цитаты из их проповедей. Не только обряд крещения, но и причастие не признается сектантами, сообщает Авдиев и продолжает:

«Вот это-то и дурно, скажете Вы, что сектанты разъединяются с братьями православными. Но ведь и при Христе так же было. Двери их открыты. Окна также. Православные подходят к окну, слушают, но никакого знака насмешки, упреска, как было прежде. Приходят, приходят бабы с детьми за пазухой. „И вы к нам? Посидеть? Послушать?“ — ласково говорят ей. Да, посидеть, — отве-

чает знакомая. Если народ не бьет, не бейте и вы, дорогой Фед(ор) Мих(айлович)! Единство ваше — идеальное, в жизни его нет; какое правило без исключений. Жизнь не ошибается, а вы этой жизни не знаете. Знаете ли, что вы знаете хорошо? Белые петербур(гские) ночи. Они замучили ваши нервы. Знаете горе, нужду, величие народа, но не знаете малоросса, юга России...»

Замечая, что ни перевод книг Священного писания, ни распространение их не учит народ читать и понимать Евангелие, Авдиев подчеркивает, что люди все больше «идут в штунду». «Это дело народное, — утверждает он. — Поймите это!» И продолжает:

«Одного я боюсь, что немец евангелич(еского) исповедания станет ближе темного православного брата. Очень боюсь, но и работаю для примирения. Если братство пойдет вперед — смотрите, для Америки между его членами явятся через 20, 30 лет совсем „зрелые граждане“. Да разве они не пригодятся русской земле? Не дай Бог!»

В конце письма корреспондент извиняется за величину письма и «за неразборчивость почерка». «Едва ли переубедил вас, — заканчивает Авдиев, — но исполнил свой долг. А много, много бы еще написал».

Сохранился конверт письма с адресом:
В С.-Петербург. Греческий проспект, возле греч(еской) ц(еркви) д(ом) Струбинско-го. кв. № 6 Ф. М. Достоевскому.

Почтовые штампы на конверте: Одесса. 15 апр(еля) 1877. С.-Петербург 19 апр(еля) 1877. Здесь же имеется помета Достоевского: «О штунде. Прочитать» (302, 70).

¹ Речь идет о произведении И. С. Тургенева «Рассказ отца Алексея», впервые опубликованном в «Вестнике Европы» (№ 5 за 1877 г.). Однако до этого рассказ во французском переводе под заглавием «Le fils du pape» был напечатан в газете «La république des lettres» в январе—феврале 1877 г. и без ведома Тургенева в обратном переводе с французского появился в «Новом времени» от 6 и 7 апреля 1877 г. под заглавием «Сын папы». Эту публикацию и имеет в виду Авдиев. Об истории публикации рассказа в «Новом времени» и протестах Тургенева в связи с этим см.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1982. Т. 9. С. 470—475.

Д. Титов — Достоевскому

1

13 марта 1876 г. Петербург

Спешу уведомить Вас, Федор Михайлович, — дабы не беспокоить напрасно Михаила Александровича,¹ которого Вы просили зайти ко мне, — что я живу теперь в другом месте, а именно: Б. Морская, д. № 31, — и бываю дома, как видите, в несвоевременные часы: в 8 часов утра ухожу на работу и возвращаюсь в 9-ть вечера.

Ах, кабы Вы знали, как обрадовало меня Ваше письмо. В нем Вы пишете насчет моих стихов, что они несправильны — дай Бог исправиться, писать лучше, — мне еще 17 лет... вся жизнь впереди — и если у меня есть что-нибудь такое, то успеет выработаться. По правде Вам сказать, я совершенно не понимаю самого

(себя)* то когда — утешаю себя, ободряю, и р(ад)* терпеть, — а то, бывают минуты, что (я)* проклинаю все свои затеи, как видно в приложенном, при сем письме, листике новых стихов, написанных мною под тягостным впечатлением. Прибавлю, что как эти, так и прежние стихи мне вовсе не надобны, потому что я имею у себя их черне.

Дмитрий Титов.

В письме Вы пишете, Федор Михайлович, чтобы я когда-нибудь пришел к Вам. Но до пятницы на Страстной неделе я не могу выбрать время. Если Бог приведет, то приду в этот день, в означенные Вами часы.²

(Написано под впечатлением нападков жизни)

* * *

Ах зачем ты страсть
Страсть кипучая
Разожгла в груди
Лаву жгучую?
Силой тайною
Овладела мною
В сеть занукала
Отняла покой?..
Отвяжись, уйди
Удалися прочь:
Твой огонь в груди
Мне носить не вмог...
Не нашептывай
Речи льстивые
Не волгуй крови
Не мути меня
Не обманывай
Мечтой сладкою:
Надоело лить
Слез украдкою
И за что страдать?
Кто же тут виной,
Что терзаюсь я, —
А не кто иной?
Отвяжись уйди
Страсть кипучая
Не пали груди
Лавы жгучая!

13 марта Д. Титов.

Печатается по подлиннику: ИРЛИ, 29 869. Частично опубликовано: Лацкий Л. Р. Утраченные письма Достоевского // Вопросы литературы. 1971. № 11. С. 207; 292, 312.

Автор писем — Дмитрий Иванович Титов, юноша-наборщик типографии «Общества Общественной пользы», сын петербургского кучера и прачки. Известны два письма Титова к Достоевскому (1876; ИРЛИ). В начале марта 1876 г. Титов (17

* Край письма оборван.

лет) посылает Достоевскому свои стихотворения. Около 12 марта 1876 г. Достоевский пишет Титову, приглашая его к себе домой. (Сведения о несохранившемся письме Достоевского см.: 292, 312). Первая встреча состоялась 27 апреля 1876 г., за ней в течение весны—лета последовал ряд других посещений («несколько раз беспокоил Вас своим посещением»). Позднее в письме к А. С. Суворину (1 июля 1879 г.) Титов сообщает, что в последние три года, образовав себя, «заманился чтением» и «изредка ходил к К. Д. Кавелину и Ф. М. Достоевскому» (см.: Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 486; подлинник письма хранится в ЦГАЛИ (ф. 459, оп. 1, ед. хр. 4233)).

Окончив курс в уездном училище, Титов хотел бы продолжить свое образование. С этой просьбой он обращался в Вс. Крестовскому, Майкову, Суворину. Суворин обратился в Литературный фонд: «Говорят, у него есть талант, но образования никакого (...) ему надо учиться (...) но он совершенно один. Может быть Литературный фонд найдет возможность что-нибудь для него сделать» (ИРЛИ, ф. 155, прил. № 331, л. 1022). По поручению Комитета К. Д. Кавелин «вошел в личные сношения с Дмитрием Ив. Титовым и узнал от него следующее (...) Страсть к авторству и советы некоторых знакомых, подававших надежды получить какое-нибудь место при редакции журнала или газеты, более подходящее к литературным вкусам Титова, побудили его выйти из наборщиков (...) Я имел в руках отрывки сочинений Титова и показывал их Ивану Федоровичу Рашевскому, директору здешней земской учительской Семинарии; эти сочинения оказались написанными грамматически совершенно правильно, с несомненными признаками таланта. Но Титов очень молод, мало знает и мало читал (...) а между тем его первые опыты и в особенности его очень симпатичная личность и трудное семейное положение вызывают к нему большое участие и желание поставить в более благоприятные условия для его авторской деятельности, развития таланта, приобретения знаний (...) По зрелом обсуждении, представилось более полезным для юноши пристроить его прямо к какому-нибудь делу, которое бы имело некоторую связь с его литературными и авторскими наклонностями (...) Такими являются занятия наборщика, от которых он отклонился, или сидельца и приказчика в книжном магазине. Мысль принадлежит М. М. Стасюлевичу, который охотно принял к себе Титова в типографию (...) Он принялся за дело охотно и с хорошим знанием дела (...) К. Кавелин. 4 октября 1876 г.» (ИРЛИ, ф. 155, прил. № 331, л. 1023—1024). Стихотворение Титова «Ф. М. Достоевскому. 12 февраля 1878 г.» указала А. Г. Достоевская в перечне стихотворений, посвященных ее мужу (см.: *Достоевская А. Г.* Библиографический указатель. С. 294).

¹ Достоевский, видимо, ознакомился со стихами Титова через М. А. Александрова.

² Встреча, вероятно, по причине занятости Титова, состоялась, не 2 апреля, как «означил» в письме Достоевский (в «пятницу на Страстной неделе»), а 27 апреля 1876 г.

2

2 сентября 1876 г. Петербург

Высокоуважаемый Федор Михайлович!

Прежде всего прошу извинения, за то что осмеливаюсь злоупотреблять вашим дорогим временем. Будьте столь великодушны, потрудитесь прочесть сии строки, писанные тем самым юношей Дмитрием Титовым, который весной текущего года несколько раз беспокоил Вас своим посещением. Эти строки имеют целию очертить вкратце мое настоящее положение, и прежде чем приступить к объяснению сей задачи, я вперед скажу, что оно далеко не завидно, а напротив, самое жалкое, самое плачевное, даже и не для моих лет. Я страдаю невыносимо... и все через ту охватившую душу идею — идею сделаться писателем. Невзгод(ы) и лишени(я) через чур рано посетили меня... Я не в силах, я не могу выразить как

отравлено мое бедное сердце, как оно рвется и в то же время самочувствует, что ничего не может сделать. О! какое огромное пожертвование принес я от себя своей неоцененной идее. Я жертвовал и жертвую всем... С удивительным хладнокровием переносу я роковые удары судьбы, молча, без ропота, ободряемый голосом совести беспрестанно напештывающей мне, что цель задуманная мною — благая, и, можно сказать, похвальная цель.

Ах, добрейший Федор Михайлович! Кабы вы могли видеть и знать, что у меня находится во внутренности, то нет сомнения — вы пожалели бы меня, несчастного, сломленного ураганом бедствий.

Что я теперь? Теперь я подобен утлой ладье застигнутой свирепой непогодой, в открытом море, — житейском...

Обещания Крестовского определить меня в училище не могут быть исполненными по той причине, что уже месяц как он уехал из Петербурга. Следовательно, ждать его возвращения бесполезно и я решился хлопотать у других.

Благодаря Алексею Сергеевичу Суворину, обо мне узнал председатель литературного фонда Виктор Павлович Гаевский;¹ он читал мои рукописи и дал отзыв на них утешительный. Это, конечно, обрадовало меня до бесконечности, притом же, как не прискорбно в таком случае высказываться самому о себе, но талант, данный мне свыше, не может быть незамеченным опытным наблюдателем. Просьба моя к Виктору Павловичу была того же самого содержания, как и просьба к Крестовскому, т. е. дать мне возможность учиться, всем обеспеченному. Утром 1-го сентября я был у Гаевского; в заключение небольшого разговора он обратился ко мне с вопросом: «В какое же вы желаете поступить училище?» Я не мог отвечать на это, и заметил, что я почти выдержал курс в уездном училище, следовательно, поступать в приходское будет лишним. «В таком случае в какое-нибудь из училищ Человеческого общества, — узнайте все это не откладывая и дайте мне знать, чтобы мне было известно, к кому обратиться и кого просить об Вас».

Вот последние слова Виктора Павловича, поселившие в моей голове массу опасений, кучу препятствий.

В самом деле вопрос этот довольно малый; он поставил меня в тупик, так что я не знаю с какой стороны приняться за решение его, — всюду неутешительно, со всех сторон горизонт моей будущности помрачившись. У меня не хватает смелости заявить свое желание, сказать что мне желательно бы поступить в Михайловское Артиллерийское Инженерное, потому что для того чтобы выдержать экзамен в это училище, прежде необходимо подготовиться к нему, — а для этого нужны деньги...

Не только-то в Инженерное, даже курс уездного училища надо повторять, потому что возьмите то во внимание, что между настоящим временем и временем выхода моего из училища находится промежуток в четыре года. В это время разумеется половина позабыто...

Ах неужели я не достигну своей цели? Неужели не найдется меценат-покровитель — не хочется думать! В наше время права

цивилизации господствуют не в пример сильнее как во времена Елизаветы. . . Как грустно, как тяжело становится, когда я вижу себя обезоруженным, когда чувствую, что все мои страдания, все обманчивые мечты есть ни что иное, как мираж, заманивающий, утомляющий и только. Я не могу свыкнуться с мыслью, что мне суждено быть наборщиком, быть испорченным человеком. Говорю это потому, что типографская жизнь мне очень хорошо известна во всех отношениях и я по собственному моему опыту вывожу об ней то заключение, что трудно, очень трудно, находясь в известном кругу, сохранить в чистоте свою нравственность и быть доброкачественным человеком; трудно сохранить то, чем так должен дорожить каждый порядочный человек! . . . Конечно, и между наборщиками есть исключения, но, помилуйте, эти капли в море почти незаметны. . .

Так вот каково мое настоящее положение, дорогой Федор Михайлович! Кто знает: быть может по своим побуждениям из меня мог бы выйти способный человек, но если я буду наборщиком, то это (не скрываю) очень сомнительно, потому что зараза действует и на здоровых.

Следовательно моя идея превратилась в мыльный пузырь, красивый, приятный для глаз и вдруг исчезнувший в одно мгновение. . . А в самом деле интересно бы было, если бы русскому крестьянину, притом несовершеннолетнему, удалось сделаться беллетристом? . . . Но ведь без учения вряд ли и сам Пушкин был бы гением, каким он теперь кажется по своему таланту. . .

Что со мною будет далее, неизвестно! . . . Случайно, прочитав биографию Кушевского, я почувствовал, что сердце мое трепетно забилось, на глазах навернулись слезы. . . — Судьба его имеет большое сходство с моею, но прибавлю. . . не думаю, чтобы он настолько страдал. . . впрочем, сердца людские грудью закрыты. Из очерков его жизни можно заключить, что он иногда в минуту скорби, прибегал за облегчением к вину, искал себе утешения на дне чарки, и этим объясняется его кратковременная жизнь. Он жил тридцать с лишком, но я думаю, что если я не исцелюсь от своего недуга, я вряд ли дотяну до двадцати пяти. Уж если я теперь, а мне еще нет 17-ти, повторяю: если теперь я чуть ли не теряю голову, то что будет далее? . . .

Следовать примеру Кушевского — прибегать к чарке, я никогда не согласен. . . Эта чарка и ее последствия с ранних лет пригляделись мне. . . Впрочем будущее в руках Божиих! . . . Ох, много, очень много горечи накопилось у меня на сердце! . . . Слова бессильны, перо отказывается служить. . . но может быть и из написанного Вы хоть несколько поймете мои страдания. . .

Помогите ради Бога, дорогой Федор Михайлович! . . .

Поверьте, что эти последние слова имеют равно сильное назначение отчаянным воплем изнемогающего, утопающего человека, который чувствует близость смерти — видит скорую гибель! . . .

Однако, если мне не суждено быть писателем, во всяком случае, я сделал что мог, и талант, погребенный со мною в землю, погублен против моей воли! . . .

Д. Титов.

(1)876 г. 2 Сентября.

Что же сказать более?

Разве только то, что где бы мне не пришлось влачить свою безотрадную жизнь, что бы со мной не случилось, — а вечер 27-го апреля 1876 года (т. е. мое первое знакомство с Вами), я никогда не забуду; не забуду также и Вас, добрейший Федор Михайлович! . . .

Если сообразовите чем-нибудь ответить, то адрес мой: на углу Б. Морской и Иса(а)киевской площади, д. Германского Посольства, сын кучера Дмитрий Титов.

Не могу оторваться от письма: хотелось бы Вам высказать все-все, желательно бы оправдать себя перед глазами многих, к кому я обращался, которые быть может считают меня глупцом, неопытным ребенком.

Все предположившие это далски от истины. . . Скажите пожалуйста, чем могла сманить ребенка скромная жизнь писателя? Неужели я не знаю, что если быть писателем, то значит предстоит пользоваться всеми благами мира! . . . — Треволнения и скорбь не имеют предела! . . . Стоит только хорошенько припомнить судьбу Ломоносова, приглядеться к современности, — и слова мои оправданы! . . .

Д. Титов.

Печатается по подлиннику: ИРЛИ, 29 869.

¹ См. биографическую справку к предыдущему письму.

А. Г. Архангельская — Достоевскому

23 марта 1877 г. Крапивна Тульской губ.

23 марта 1877 г.

Достоуважаемый Федор Михайлович!

Спешу прежде всего предупредить Вас, что мое письмо не деловое и не особенно важное, а потому если Вы в эту минуту заняты делом (Вы ведь очень занятой человек!), то отложите письмо в сторону и только, когда Вам захочется отдохнуть, то отдайте ему частицу Вашего внимания. Наше слишком короткое знакомство не даст мне права отнимать у Вас время на беседу со мной, но припоминая то обстоятельство, что Вы при первой нашей встрече подарили этой беседе почти два часа,¹ я могу надеяться и теперь на подобную любезность.

Будучи выслана из Петербурга по причинам, которых мне никак не удалось узнать, как я ни добивалась этого, и поселившись в провинции, я имела достаточно времени переживать прошедшие впечатления и нередко мысленно возвращалась к нашей беседе с Вами, — беседе, богатой поднятыми широкими вопросами. Во время

суетливой петербургской жизни, когда внимание постоянно отвлекается жизненными заботами и текущими событиями дня, не успеваешь совсем поглубже сосредоточиться на более широких и отвлеченных вопросах, хотя и живо ими интересуешься. Здесь же, в провинции, где один день постоянно похож на другой, и каждый следующий не приносит с собой ничего нового, — приходится гораздо больше жить своим внутренним миром и долгие и внимательнее останавливаться на вопросах, не так тесно связанных с мелкой житейской суетой.

Вопросы, приковывающие мое внимание в настоящее время, касаются человеческого духа. Эта область как-то наиболее привлекала меня всегда. Сначала это был интерес бессознательный. Я любила сходить с людьми, проникать в их душу, следить за изгибами их мысли, никогда не отдавая себе отчета в том, зачем это делается. Потом, когда умственная сторона развилась больше, я стала заниматься анализом того, что прежде только безотчетно воспринимала; мне хотелось выяснить ту или другую сторону человека и отдать себе отчет в ее значении. И вот в настоящее время запуталась совсем в противоречиях, из которых не могу выйти одна, почему и решаюсь обратиться к Вам, считая Вас компетентным в области психологии не только как творца художественных типов, но и как человека, хорошо знакомого с историей и много самостоятельно мыслившего. Итак я изложу Вам сейчас те противоречивые мысли, которые я не могу примирить, а также и причины, заставившие меня на них остановиться.

Когда мне пришлось против воли оставлять Петербург, то я была до глубины души возмущена этим. Еще больше возмущали меня суждения, которые пришлось слышать здесь по поводу моего остракизма. Я часто выходила из себя, сильно волновалась, и вдруг, посреди этого жара чувства меня поражала мысль: а как мало, однако, теоретические воззрения проникли в мою натуру! Не я ли сама всегда так ясно сознавала и горячо отстаивала ту истину, что все в мире подчинено непреложным законам, что относительно человека также существуют эти неизбежные законы, каждый момент его психической жизни управляется ими, и каждое душевное проявление есть неизбежный результат действующих на него причин, а потому, если люди делают ошибки, то нельзя на них за то возмущаться, т. е. это будет равняться тому, как если бы кто вздумал возмущаться на то, что солнце покрывлось тучами и т. д. Эти истины для меня ясны и несмотря на все это, однако, я не могла подавить своего чувства; оно было естественно, но неприятно для меня.

Потом родился вопрос — да стоит ли стараться подавлять подобные чувства. Почему не давать им свободы? Что это был бы за человек, если бы он отучился возмущаться чем бы то ни было? Ведь одушевление чувством во многих случаях заставляет человека энергичнее относиться к жизни, толкает его сильнее к хорошему и заставляет исправлять худое. Как же помирить эти вещи? Какого рода отношение желательно со стороны человека: бесстрастное ли

созерцание(е) человеческих поступков, или же согретое жаром чувства? Другими словами: какое из этих отношений является большим фактором прогресса (прогресса — понимаемого не в смысле Спенсера, как перехода от однородного к разнородному путем дифференцирования и интеграции, а в смысле человеческого совершенства)? С одной стороны бесстрастный человек есть более справедливей, менее способный к ошибкам, но в силу своего бесстрастия более индифферентный. Такой человек способен потерять совершенно различие хорошего и худого, для него будут существовать только причины и следствия, и потому он легко будет уживаться при всяких условиях, не стараясь их улучшить. Человек же страстный, постоянно увлекающийся, хотя и является более энергичным поборником хорошего и исправителем худого (понимаемого в его индивидуальном смысле), но вследствие своей страстности постоянно впадает в ошибки. В силу личных симпатий и антипатий он готов преследовать вещи, часто полезные для людей вообще и будет таким образом причинять много зла. Кто же из двух в результате будет иметь большее значение? Вы мне заметите, пожалуй, что я поднимаю в несколько измененной форме те вопросы, которые были подняты и решены Боклем в его «Истории цивилизации», т. е. вопросы об относительном значении умственного и нравственного развития для цивилизации. Не совсем так. Я не отождествляю чувства с чувственностью и беспристрастного отношения к вещам с умственным развитием, а потому вопросы, мной поставленные, не тождественны с приведенными. Другое замечание, которое могут вызвать мои рассуждения, может быть такого рода: к чему эти вопросы о том, что лучше, как будто люди, узнавши лучший способ отношения к чему бы то ни было, примут и привьют его к себе? История идет своим естественным путем, и, как отдельные личности ни решай вопроса, — путь этот будет тот же. К чему же бесполезные умоствования?

Я с этим не могу согласиться. Я уверена, что каждое ясно сознательное понятие становится одной из сил, направляющих наши действия даже помимо нашего сознания. Если бы мы глубоко убедились, что возмущаться чем бы то ни было — вредно, мы утратили бы мало-помалу эту способность, как мы теряем потребность принимать известный род пищи, убедившись вполне в его вреде. Существование пьяниц и потребителей табака, могущее мне служить опровержением, я объясняю только тем, что эти люди не сознают ясно всех вредных последствий запоя и куренья или же не особенно дорожат жизнью.

Кроме того допустим даже, что определение относительной ценности обоих факторов и не имело бы практического значения для наших поступков, то и тогда все-таки можно заняться этим вопросом, поставивши его так: в каком направлении идет теперь человечество: развивается ли в нем бесстрастно справедливое отношение к вещам или же страстно-деятельное? — Вот за решением-то этого я и обращаюсь к Вам. Из нашей личной, хотя очень короткой беседы я вынесла впечатлен(ие), что Вы хорошо знакомы как с прошедшей

историей человечества, так и с настоящим порядком вещей и, конечно, много и глубоко думали обо всех проявлениях человеческого духа; поэтому будущий ход истории для Вас гораздо яснее, яснее также и то, какие результаты произведет какой-либо фактор, входя в состав сил, направляющих ход индивидуальной и общественной жизни.

Спрашивается теперь: каким образом узнаю я Ваш взгляд? Просить Вас ответить мне я не могу, п(отому) ч(то) Ваше время слишком занято, и всякую лишнюю минуту Вам важнее посвятить разговору с целой Россией, нежели с отдельным человеком. Может быть Вы найдете удобным посвятить разбор вопроса полстранички Вашего дневника, сделав вопрос общеинтересным? Может быть Вам уже приходилось высказываться по этому поводу где-нибудь? Тогда, будьте добры, укажите. Я, надо сознаться, плохо слежу за текущей литературой. В Петерб(урге) не имеешь времени, а здесь теперь нет возможности, п(отому) ч(то) Крапивна наша совсем не выписывает периодических изданий, даже газет трудно найти. Поэтому, в простоте сердечной, быть может начинаешь толковать о вещах, давно уже сложенных в архив. Мой адрес на случай: Крапивна (Тулск(ой) губ(ернии)) Александре Гавриловне Архангельской.

Вам так много приходится встречать постоянно людей, что я не могу надеяться, чтобы Вы ясно помнили меня и нашу встречу. Я та студентка, которая приходила к Вам по поручению Злобиной² утром на маслянице.*

На конверте:

Его Высокоблагородию,
Фсдору Михайловичу
г. Достоевскому
Греческий проспект, против
Греческой церкви, дом № 6
В С.-Петербурге

На обороте конверта рукой Достоевского: «Крапивна».

Печатается по подлиннику: ИРЛИ, 29 640.

Почтовые штампы на обороте конверта: «28 марта Петербург 1877», «24 марта Крапивна 1877».

Александра Гавриловна Архангельская — курсистка. В феврале 1877 г. «за пропаганду» была выслана в Тульскую губ. под надзор полиции (см.: Деятели революционного движения в России: Био-библиографический словарь. М., 1929. Т. 2. Семидесятые годы. Вып. 1. А.—Е/Сост. А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. Стб. 58; в Словаре местом ссылки ошибочно указана Костромская губ.). Письмо это типично для определенной группы читателей «Дневника писателя», в основном женщины, обращавшихся к Достоевскому за решением жизненных вопросов. Возможно, что это письмо в определенной мере повлияло на размышления писателя, отраженные в «Сне смешного человека», опубликованном в апрельском номере «Дневника писателя» за 1877 г.

¹ Когда состоялась эта встреча, неизвестно.

² Неустановленное лицо.

* Последний абзац приписан на полях.

КРУГ ЗНАКОМЫХ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ

Семипалатинский период продолжает оставаться наименее изученным в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского, несмотря на возросший интерес исследователей к нему в последнее время.

Он охватывает время с марта 1854 г. по июнь 1859 г. Это период ссылки писателя, когда он после четырехлетнего заключения в Омском остроге был направлен в Семипалатинск солдатом штрафной роты 7-го Сибирского линейного батальона.

Годы после выхода из каторги были наполнены размышлениями о судьбе России и своей собственной; из писем Достоевского видно, как много пережито и передумано за пять семипалатинских лет. Значение этих лет предопределялось еще в письме, адресованном Н. Д. Фонвизиной: «Я в каком-то ожидании чего-то, я как будто все еще болен теперь, и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь решительное. Что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное» (28₁, 177).

Прежде всего надежды на возвращение к настоящей жизни у Достоевского означали — вернуться к литературе.

В течение нескольких лет нами изучаются вопросы семипалатинского периода Ф. М. Достоевского, которые связаны с его духовными исканиями и творческими замыслами, кругом его литературных чтений и его знакомыми в Семипалатинске.

В основу данной работы легли материалы архивов Астрахани, Барнаула, Омска и Томска, связанные с его семипалатинским окружением. «Здесь уже начало киргизской степи, — делился Ф. М. Достоевский своими наблюдениями с братом. — Город довольно большой и людный (. . .) Степь открытая. Растительности решительно никакой, ни деревца — чистая степь (. . .) Когда-нибудь я напишу тебе о Семипалатинске подробнее. Это стоит того» (28₁, 178). Поначалу город понравился Ф. М. Достоевскому. Лежащий на границе Западной Сибири и «Киргизской степи» Семипалатинск был крупным торговым центром. Сюда стекались десятки караванов из Средней Азии и Китая. В год приезда писателя город стал областным. Член областного правления Н. А. Абрамов назвал его «одним из важнейших пунктов нашей торговли с Средней Азией». Городу был дан герб: на лазоревом фоне щита золотой навьюченный верблюд, а над ним серебряная луна и пятиугольная звезда. Щит увенчан золотой городской короной. Общение с Востоком наложило своеобразный и очень сильный отпечаток на внешний облик и весь уклад жизни: Семипалатинск поражал причудливым сочетанием элементов европейской и азиатской культур. Благодаря своему счастливому местоположению город рос, обстраивался, а для удобства торговли русских купцов с «азиатцами» были устроены меновые